

ПОСТСОВЕТСКИЕ МАСКУЛИННОСТИ

Советская маскулинность

«Земной свой путь пройдя до половины»

Елена Здравомыслова

Задача данного эссе - постараться воссоздать черты одного поколения российских граждан на основе биографического интервью, взятого у нашего друга и коллеги Эдуарда Фомина. Он принадлежит к поколению людей, раннее детство которых проходило во время войны; тех, кто знает, что такое послевоенная разруха; кто, может быть, и не испытал на себе репрессий сталинского периода, но чьим родителям это было знакомо не понаслышке. Это люди, юность которых была овеяна дерзким очарованием оттепели, но большая часть жизни прошла в условиях лицемерного позднесоветского времени. Попытаемся понять на примере одной профессиональной биографии фрагмент социальной структуры общества, а именно - воспроизвести социальный опыт, сформировавший поколение шестидесятников, которых называют так потому, что шестидесятые годы стали для них решающими в определении жизненного пути.

Это эссе представляет собой упражнение в социологическом воображении, которое, как считает Р. Миллз, представляет собой умение увидеть устройство общества, взглядыываясь в жизнь отдельного человека. Вслед за У Томасом мы полагаем, что самый лучший социологический материал - это личный документ, в том числе биографическое свидетельство. Вслед за К. Манхеймом мы исходим из того, что общий опыт, пережитый в решающее время

жизни, объединяет людей в поколение, которое становится постепенно структурной рамкой бытия индивидов, позволяющей различать себя среди соплеменников и современников. Поколение здесь будет пониматься как общность людей, переживших сходный социально-культурный опыт и обозначающих себя как такая общность. Поколение, с одной стороны, понимается как коллективная идентичность, основанная на самоопределении, а с другой стороны, как структурное условие - социальная среда, обиход и событийность которой вьедаются в жизнь отдельного человека, становясь частью его образа.

Итак, чтобы сегодня мы могли понять нашего героя - автора биографического нарратива - следует узнать, каково было его становление. Он сам говорит: *«Пора подводить некую черту, спрямлять путь в своем собственном сознании, выяснять, что же собственно прошел».*

Теперь, когда время подведения итогов призывает нас связать с логической последовательностью разрозненные фрагменты нашей жизни, индивидуальная биография, изложенная по правилам современного жизнеописания, помогает нам включить свою жизнь в историю общества.

Дадим слово Эдику:

«Я родился в 1940 году в Сталинградской области <...> Я родился там, где отец был заведующим РОНО. Вот это село такое, <...> районный центр <...> До 46 года я жил в этом селе, причем как бы жил в таком... опять-таки я это село помню достаточно хорошо, оно было... ну это был районный центр и в то же время это было село, потому что деревянные дома, школа, помимо, только была, рядом, недалеко находилось летное училище».

Итак, перед нами человек, родители которого принадлежали к советскому среднему классу, отец - представитель сельской интеллигенции, учитель, романтический и драматический образ. Образование было той усвоенной в родительской семье ценностью, которая в дальнейшем не подвергалась сомнению.

В нашем обществе, пытающемся вновь обрести утраченные традиции после разлома советской парадигмы, поиски корней стали массовым явлением. Мы ищем их, не только подводя итоги какому-то значимому периоду жизни, но и тогда, когда совершаем поступки и переживаем события. Перед человеком сегодня стоит задача легитимизировать себя в рассыпающемся мире, где все может произойти. И, конечно, мы выбираем из семейной памяти то, что доступно и то, что может помочь устоять. Селективность памяти - это наша защита от самих себя и от общества с его структурной неопределенностью. Поэтому значимость корней, родни в рассказе трудно переоценить.

ОТЕЦ

Рассказ об отце, представленный в автобиографическом повествовании, помогает нам понять мир родства нашего персонажа так, как он его видел сам, усмотреть в нем будущий стержень жизни. Предание об отце - это история советского человека старшего поколения. Это история социальной мобильности; история таланта и жизненной силы человека, который, несмотря на перипетии судьбы (принявшей облик советского общественного устройства), многого достиг, но многого и не смог. Отец Эдика - человек, который карабкался (и иногда успешно) вверх по социальной лестнице, потому что был неординарной личностью и имел незаурядные амбиции. При этом его инициатива и общественно-антрепренерский дух постоянно наказывались. Если не прямые репрессии, то репрессивные меры стали фоном семейной истории, смутно известной сыну:

«Отец был штурманом - летчиком, который служил под началом Якира и был свидетелем его ареста, потому что Якира арестовали прямо у него на глазах, когда он проводил смотр. Потом он был исключен из партии и уволен из рядов армии за оригинальничание, которое выразилось примерно в том, что на политзанятиях спросил, будучи курсантом, правда ли, что воинскую присягу написал Троцкий? Ему на это не ответили, потому что это была правда, вот, но из армии его уволили и он как бы оказался на длительный период времени с волчьим билетом <...> Причем уволили, уволили и исключили из партии, уволили из армии, и вот он стал учителем математики в школе, поскольку он был человеком достаточно активным, хотя происходил из очень простой семьи — родителей отца было 13 детей и были они очень и очень бедны».

Для поколения нашего героя типично фрагментарное, в чем-то ущербное знание о своих предках, что вызвано стратегиями самосохранения семьи. Семейные тайны - это норма советской биографии. Такую недосказанность, умолчание мы встречаем и в рассказе нашего героя. Обладая организаторскими способностями, его отец, учитель (а тогда еще учителей уважало население полуграмотной страны), становится заведующим районного отдела народного образования. Но позиции повыше довольно рискованно занимать в советское время. Именно они становятся объектом пристального внимания конкурентов и секретной полиции. Всемогущий донос - вершитель судеб, инструмент личной истории - и тут сыграл свою роль.

Роль доносчиков в жизни советских людей огромна. Эти «санитары леса» функционируют как произвольные, якобы случайные персонализированные воплощения барьеров советских каналов восходящей мобильности. Случай-

ность, адресная произвольность советского доноса известна. Чтобы донос сработал, нужно было немного. Во-первых, чтобы объект доносительства занимал сравнительно значимую конкурентно привлекательную позицию. Во-вторых, чтобы были читатели доносов, которые задействуют машину репрессий. В-третьих, чтобы доносимая информация указывала на факты жизни, несовместимые с представлением о советском человеке. Донос заведомо считался аутентичным, т.к. презумпция невинности не являлась нормой советского права.

Отец героя был повторно исключен из партии по доносу и уволен с работы. Его обвинили в том, что он скрыл от партии свое купеческое происхождение, в доносе было указано, что он сын богатейшего в нижнем Поволжье прасола: *«Прасол - это владелец скота. На самом деле отец у него был гуртовщиком, он гонял хозяйский скот на бойню... Но тем не менее. <...> Короче говоря, был уволен, добивался восстановления и был восстановлен, потому что, в общем, каким-то образом долго это длилось, по-моему, года полтора. Ездил в Москву, в ЦК, в комиссию партийного контроля, доказывал, что он не верблюд, в конце концов его восстановили и он... такая странная была история».*

«Странными историями» полны жизнеописания советских людей. Иногда, оппонируя доносам, они добивались справедливости, иногда нет. От чего это зависело - никому не известно. Помогла ли хорошо работающая бюрократическая машина (комиссия партийного контроля) или просто порядочный человек попался (персонализированная справедливость)? Всего того, что выглядит как случайность, на самом деле было сложно избежать, коль скоро человек становился заметен.

Итак, отец был восстановлен в партии. *«Однако когда началась война, он не был призван на фронт, поскольку за ним тянулся шлейф недоверия. И это снова — счастливая судьба, потому что многих, прежде репрессированных, отправляли в штрафные роты и так далее, а он просто... ну как бы были у него всякие истории такие военные, связанные с тем, что, например, ему поручалось конвоировать одному целый отряд штрафбатовцев-уголовников. Вот. Ну вот такие вот мелкие истории он рассказывал, как бы не вдаваясь в подробности - почему и как. Вот. Рассказывал об отступлении наших войск, о мародерстве, о том, как жестоко расправлялись с так называемыми мародерами. Потому что, в общем, по контексту, как он говорил, было ясно, что не были они на самом деле никакими мародерами, они просто жрать хотели. Вот. А, например, маршал Рокоссовский расстреливал их перед строем. И это все у него на глазах. Это, видимо, было все-таки такими сильными потрясениями для него, и поэтому он так, какими-то мелкими чертами иногда мне это рассказывал. <... > Мужики-то все были на фронте, и было два мужика на всю эту самую, это отец и инвалид-физрук. И они вдвоем не столько занимались как бы вот этим учебным процессом, сколько кормили учителей-ловили рыбу».*

Это Волга. Ловили рыбу и таким образом обеспечивали вот такую... обеспечивали выживание».

В 1951 году по знаменитому ленинградскому делу на основании возобновленного доноса отец был вновь исключен из партии и вновь уволен с работы.

Умалчиваемое знание о судьбе отца присутствовало в семье, было фоновым, хотя в открытую эти события и сопутствующие им семейные горести и тревоги не обсуждались. Семейные тайны стали постепенно раскрываться позднее, когда риск, связанный со знанием истории собственной семьи начал уменьшаться: наш автор достоверно узнал обо всем этом уже после XX съезда партии.

Эти случайности советской жизни, характерные для времени «тоталитаризма», в автобиографическом рассказе выражены лексемами, свидетельствующими о неспособности людей влиять на ситуацию, контролировать свою судьбу. «Все обошлось» - типичный рефрен. Возвратная частица указывает на то, что все произошедшее ни в коем случае не связывается со свободным выбором человека, ставшего марионеткой в руках обстоятельств. На фоне нашего знания о других судьбах выживание отца кажется счастливой случайностью:

«Это уже коснулось меня, это уже все было на моих глазах. <...> И я достаточно четко сегодня представляю, что, в общем, все обошлось достаточно благополучно, вот, потому что как бы знаем историю, чем все эти истории кончались. Вот. Он остался жив, мало того, опять-таки восстановился в партии и прочее, вот, а... но все, что этому соответствовало, вот что означал вот такой «волчий» белый билет, что, значит, это был парень, исключенный из общества, это я уже почувствовал сам: то есть мать на работу не брали, он не работал».

Это поколение вырастает с ощущением отсутствия онтологической безопасности, тревожности, которое подросток усваивает с самого детства: *«Обстановка, в которой происходило становление, была какая-то такая тревожная, что не все очень благополучно вроде как-то, хотя не очень было понятно, что собственно не благополучно. Никаких особых таких диссидентских мыслей не возникало, а вот возникала какая-то тревожность существования, связанная с тем, что **с тобой лично в этой стране может произойти все, что угодно. И все это совершенно независимо от того, как ты себя ведешь.** Вот это было мне как бы ясно, вот, хотя из этого, в общем, не происходило никаких таких радикальных воззрений на строй, ничего не было, просто вот неблагоприятие и все».*

Опыт родительской семьи осмысливается нашим героем как условие формирования особого типа личности - человека, готового ко всему, не доверяющего власти и настороженного; человека, полагающегося только на себя и сво-

их самых близких (друзей и родных), но уж никак не на государственно-общественные институты, от представителей которых можно ожидать всего, что угодно. Такой человек усваивает также, что приобретение статусной позиции связано с личным риском и опасностью для семьи («тише едешь - дальше будешь»). Такой культурно-антропологический тип личности напоминает нам «человека выживающего» Шейлы Фицпатрик и совсем не похож на личность, ожидающую патронажа государства (классический вариант «простого советского человека», согласно Ю. Леваде»). Трудно говорить о стратегиях людей того времени, однако постфактум наш автор указывает на базовую стратегическую модель своей жизни. Обдумывая пережитое, он говорит: *«Нужно [было] строить свою жизнь таким образом, что ты должен уметь все и быть готовым ко всему. Ты должен быть универсалом. Ты должен прожить в лесу совершенно один, без пищи, без ничего, вот, ты должен уметь все делать от любой черной работы до профессиональной технической работы и так далее».*

Итак, мы зафиксировали первый биографический сюжет, который сформировал нашего героя. Это семья и история отца, идентификация с которым чрезвычайно сильна у рассказчика. Второй сюжет, который мы реконструируем как формирующий личность рассказчика, это *опыт послевоенных миграций*, устремленных в центр - в Ленинград, опыт, который был тогда массовым в России. Миграция в город - значимая часть жизненного пути этого семейства.

ЛЕНИНГРАД

После блокады, когда в городе осталось меньше трети его довоенной численности и фактически все коренное население вымерло или было выбито и выселено, мигранты вернули Ленинград к жизни, влив в город новую кровь. Переселялись родами, кланами, расширенными семьями, убегая от провинциальных гонений, в поисках работы, думая о будущем детей, о хлебе насущном и пр. И далее рассказчик обращается к теме ленинградского патриотизма, неоднократно упоминая об особой атмосфере Города, о влиянии этого мифологизированного места на его жизнь и понимание себя:

«Мы приехали в 46 году в Петербург с нижней Волги вслед за отцом, который приехал сюда со своим братом. Ну потом, значит, пригласил, вызвал, выписал, что называется, младший брат отца, говорит: «Приезжай, мол, в Питер, чего ты там киснешь?» <... > Ну вот он и поехал, а через некоторое время приехали и мы с матерью. И с тех пор — считай, мне тогда было 6 лет — я думаю, что имею основания считать себя в общем ленинградцем, петер-

буржцем, потому что все остальное происходило уже здесь. Потом отец здесь сделал, опять-таки будучи человеком активным, вот такую, довольно странную карьеру: он был секретарем парткома бумажной фабрики на Васильевском острове, <...> потом закончил высшую партийную школу, был направлен в область, вот, некоторое время мы к нему ездили, потом он был направлен в Красное Село, вот, и стал там третьим секретарем райкома, то есть он был, в общем, секретарем по идеологии».

Бедное детство типично для этого поколения: *«После войны... так получилось, что в первом классе я не учился <...> Читал я с четырех лет, опять-таки не по собственной инициативе, потому что вовсе не вундеркинд, а просто родители — учителя, и рано начали к этому приучать, и в общем с четырех лет я уже читал. А в первом классе я не ходил в школу в Петербурге, то есть тогда в Ленинграде, по той простой причине, что не в чем было. Не в чем было...».*

Сама собой разумеющаяся бедность, отсутствие достатка в послевоенном детстве неявно присутствуют в рассказе. Детство во многом обездоленных советских людей приучало их к жизни скромной и внимательной к другому. Контрасты в уровне жизни не выпячивались. Корейки прятали свои миллионы под кроватью. Навыки советского общежития, жизнь на людях, или, говоря словами Е. Герасимовой, «публичная приватность» также влияют на тип личности, формируя человека, часто лишнего выразенного эгоцентризма, привычки ориентироваться на себя.

Советская коммунальная квартира представлена рассказчиком как опыт терпимости и сосуществования людей разных статусных групп: *«Жили в коммунальной квартире, кстати, очень любопытной. У нас было приблизительно 11 жильцов. Я просто расскажу так по порядку, по какому социальному статусу жили люди.*

Первую комнату занимала старушка, почти лысая совсем, потомственная дворянка, личный стенограф Владимира Ильича Ленина <... > Когда я начал изучать в школе английский язык, она мне помогала готовить домашние задания, и мы с ней получали всегда двойки, чему она крайне удивлялась. Потому что язык, которым владела она, и язык, которому насучили в школе, просто не совпадали совсем.

Следующую комнату занимала вагоновожатая с сыном, который из тюрьмы не выходил вообще. То есть почти регулярно, когда он бывал в квартире, почти регулярно приходила милиция и за какие-то проступки его забирала, потом отпускала, а потом он, наконец, садился в тюрьму надолго.

Следующую комнату занимала тоже потомственная дворянка, вышедшая в свое время замуж: за революционного матроса, вот, тоже довольно

пожилая женщина с дочерью. **Все свободное время я проводил у них в комнате, потому что это был очень такой, совершенно не похожий на наш пролетарский, сельский и вообще не понятен какой быт и атмосферу.** Какие-то кувшины, какие-то... Она не выходила на кухню, а мыла руки с кувшина, я ей, например, поливал, она мыла руки и лицо у себя в комнате. Дочь ее была аспиранткой биологического факультета университета, потом защитила диссертацию, потом стала преподавать в Герцена, в этом самом и, в конце концов, вот уже в 70-х годах она была деканом биологического факультета. <... >

Следующую комнату занимал герой Советского Союза с семьей, который учился в Академии Фрунзе, а потом они, в конце концов, переехали в Севастополь, и он стал там начальником морской базы, окончив ее и став адмиралом, вот. Поскольку он был на особом привилегированном положении, все-таки герой Советского Союза, они занимали две смежные комнаты.

Вот эту вот смежную комнату занял позже официант «Метрополя» с семьей, вот. Это то, что сегодня мы называем «теневая фигура». Это человек, не живущий зарплатой, как все остальные. Человек, живущий с тeneвых, и человек, живущий с того, что он, как мне как-то в сердцах сказал отец, что он как-то вот был, мимо проходил и видел, как он обирал пьяного посетителя. Шмонал по карманам. <... >

Следующую комнату занимал брат моего отца, который в ту пору был редактором «Вечернего Ленинграда», в коммунальной квартире и так далее. Вот. Потом потомственная пролетарка с дочерью и внуком».

Социологическое резюме профессионально делает сам рассказчик: «Совершенно разные среды, слои и при этом, в общем, довольно миролюбивая и довольно такая спокойная обстановка на этой огромной общей кухне. <...> Эти культуры соседствовали друг с другом и, могу сказать, что они <...> принимали друг друга. У пролетарской части не было презрения к дворянской части, у дворянской части тоже не было презрения к этой самой. Все жили так более или менее мирно и справляли какие-то общие праздники, какие-то были общие мероприятия. <...> Эта среда, мне кажется, тоже в известной степени сформировала некую толерантность <...> потому что я как бы с детства окружен был совершенно разными культурами. А это было детство шесть, семь, восемь... до 12 летя там жил».

Наш герой - представитель поколения, которое нас интересует, - не белая кость: он демократичен в своей открытости множеству социальных культур, ему не свойствен снобизм, он непритязателен в своих материальных потребностях и склонен учитывать в своих действиях других людей.

Для мальчиков этого поколения и слоя характерно раннее взросление которое можно назвать возмужанием: «С 12 лет я <...> начал работать, потому что надо было себя прокормить, снять хотя бы ответственность с родителей на предмет того, чтобы у них там не болела душа, что я там голодный,

без штанов там и так далее. <... > Я стал работать подпаском летом, вот, потом какие-то начались зимой всякие работы».

Семья обосновалась в Красном Селе - пригороде Петербурга. Красное село - это, по свидетельству рассказчика, особая субкультура - Питер, да не совсем. Это была пограничная территория, определяемая правилами прописки в мегаполисе. Здесь, в 20 км от города, оседали люди, стремившиеся в Ленинград, но остановленные властью у его ворот. Это были «окончившие, например, высшие учебные заведения, по распределению направлявшиеся куда-то, а потом стремившиеся вернуться на родину, там, где они выросли, но поскольку вернуться они уже не могли, очень многие из них оседали в Красном селе. Это был довольно своеобразный интеллектуальный мир, это были отобранные и отборные люди. Это был маленький мир, где люди друг друга знали. Здесь все знали отца и мать. Поэтому сознание обывателя, сознание простого человека было совершенно понятно. «Какой он враг к черту? Афанасий-то, я же с ним не одну бутылку выпил! Какой он там к черту враг!» <... > Отношение ко мне в школе было очень сочувственное, в отличие от, скажем, того, что я читаю в литературе, что вот там сын врага народа... Ничего подобного. Я чувствовал доброжелательные взгляды, я чувствовал сочувственное отношение к себе. В учительской среде очень много было высоко профессиональных учителей. С высоко развитым интеллектом, с пониманием очень многих вещей. Но отнюдь не в социальных дисциплинах, таких как история, там, понятно, были совсем другие люди. Скорее помнятся всякие технари, преподающие математику, физику и так далее — это была такая среда, которая относилась совершенно по-другому к нам».

ПЕРВЫЙ ВЫБОР

Наш герой закончил школу в 1956 году - в год XX съезда. Вместе со всем обществом он вступил в новую эпоху политической оттепели, как назвал ее Илья Эренбург. В повседневной школьной жизни съезд сказался в том, что «не надо было сдавать историю, потому что вдруг история оказывается была не та. А какая она была, история, мы еще не могли знать этого, нас этому не учили».

Время первого выбора совпало со временем первых советских свобод. Это период общественной эйфории и мифологизированных надежд. Наш герой пытается строить свою жизнь, выбирая профессию по нраву. Его первоначальный выбор обосновывается определенной модой - повальным увлечением техникой и инженерией. Новая волна модернизации, получившая название научно-технического прогресса, начало споров физиков и лириков, покорение природы - все это захватывало умы молодежи.

В те годы в технические вузы были чрезвычайно высокие конкурсы. Окончив школу, в 16 лет наш герой стал поступать в Военно-механический институт, *«вовсе не потому, что военная карьера привлекала, а потому что это был очень престижный вуз и у него как бы легенда была. В общем, выбор вуза — это, вообще говоря, довольно странная история, вот. Ну, во-первых, во многом за компанию с другими ребятами. Во-вторых, привлекала всегда меня творческая какая-то работа, но работа эта была, в общем, связана с техническим профилем, с профилем строительства, машин, механизмов и так далее. Однако по конкурсу не прошел».*

В это время, как сейчас думает наш рассказчик - профессиональный социолог, формировалось его представление о себе. В сегодняшней ретроспекции вся жизнь связывается в достаточно цельную, непрерывную картину, которая находит свое воплощение и подтверждение в любом фрагменте опыта, подлежащем воспоминанию.

«Я СЕБЯ СЧИТАЮ КОНСТРУКТОРОМ», - говорит он. Конструктором и деконструктором социального мира, - добавим мы. Личностный проект «складывался под влиянием нашей советской фантастики, где главный герой был конструктор, в общем, я и до сих пор себя считаю конструктором. Потому что в общем даже, если я чего-нибудь пишу, то на самом деле я конструирую. Я конструирую эту реальность, вот, или модель той реальности, которая, как мне кажется, соответствует, и проверяю, сверяю, так сказать, методами социологическими, поскольку я прекрасно понимаю, что эмпирический материал, который я могу собрать, всегда недостаточен. Поэтому, анализируя сегодня, как я работаю, я понимаю, что работаю я таким образом: я строю модель и сверяю ее с действительностью».

Такой виртуальный конструктивизм, который автор считает своим жизненным кредо, на самом деле противоречит усвоенной установке о случайности и навязанности всего, что может произойти в жизни с советским человеком, он противоречит также чувству личной уязвимости, усвоенному с детства. Желание влиять на происходящее и созидать новое при подспудной уверенности в том, что от тебя мало что зависит, - это сложный синдром, характерный для многих представителей данного поколения. Молодая и непрочная, только что появившаяся и не до конца осознанная вера в возможности свободы накладывается на прочно и бессознательно усвоенную уверенность в зыбкости социального статуса, произвольности судьбы и всемогуществе власти. Такое напряжение ожиданий создает драматизм личности и способно повлиять на стратегии жизненного пути в дальнейшем.

«В вуз не попал, в техникум не хотелось, и тогда как раз появились у нас эти ремеслухи и преобразовывались в технические училища. Мне ничего не

оставалось, я пошел и окончил техническое училище». Атмосфера технического училища той поры была иной, чем атмосфера совсем недавних советских ПТУ. Если ПТУ чаще всего собирали молодых людей, не ориентированных на профессиональный рост, с низким уровнем образования и амбиций (хотя были и исключения), то технические училища конца 1950-х годов пополнялись за счет тех, кто не попал в вузы: «Это люди, которые... готовились, решали задачи по физике, по математике, готовились к поступлению в вуз. Это было техническое училище при Кировском заводе. И, естественно, на Кировском заводе я часто бывал и так далее, и, конечно, хозяйственный бардак поразил необыкновенно, просто необыкновенно».

Вот тема, которая кажется нам ключевой для понимания отношения автора к позднесоветскому времени. Этот мотив почти навязчиво звучит в его исповедальном рассказе. **Критический патриотизм** - эта та социальная установка, которая до последних дней пронизывает его сознание. Что же это за слова, которыми наш автор описывает флагман советской тяжелой индустрии - Кировский завод? *Бардак, рутина, нерациональность, неэффективность, невнимание к человеку* - это те признаки, которыми на примере завода наделяется вся общественная система. Эти устойчивые черты российских бюрократизированных структур нам хорошо известны.

Критический патриотизм героя и его поколения - эта та ценностная установка, которая лежит в основе его идентичности. Он хочет быть социальным прорабом, человеком, который поймет, как работает эта машина и наладит ее.

*Мне захотелось понять, - так звучит его голос... Амбиция вполне объяснимая для молодого интеллектуала. Но такие амбициозные проекты в разных контекстах приводят к разным результатам. Кажется, его отцу тоже хотелось понять и сделать по-своему... Наш герой вспоминает: «Мне захотелось понять, а что же собственно такое происходит вообще, что происходит в этой инфраструктуре бытия, вокруг всего этого, что это организует. Почему это все неэффективно, так глупо, как-то бездарно, нелогично. Хотелось **бырацио-нально** сделать то-то и то-то, а этого никогда не делается, делается все как-то, по каким-то непонятным мотивам».*

В этих словах мы усматриваем веру в возможность разумного переустройства существующего общественного порядка. Наш автор и герой представлял советский социальный мир как машину, механизм, систему, которая в настоящее время дает сбой и не слишком рационально работает, и которую он намеревался починить, исправить... Представление об обществе как когерентной системе - обычное повседневно-социологическое убеждение, часто подспудное. Оно легло в основу амбиций первого после сталинского поколения советских социологов с их инженерным подходом к обществу. Задача социологов - понять это устройство, разработать теорию и применить ее как руководство к действию. Вера в социальную науку в тот период еще была сильна - это

время интеллектуальных исканий новых советских младогегельянцев, младо-марксистов - вспомним Э. Ильенкова, тогда еще молодого М. Мамардашвили и других философов. *«Маркса я знал, а о других философах, мыслителях, экономистах, социологах тем более — мы просто о них понятия не имели, — вспоминает наш автор, — значит, надо идти, изучать что-то такое, чтобы разобраться в том, что происходит».*

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ стал пространством обучения навыкам социального конструирования: *«И стал я поступать на юридический факультет. Почему? Чтобы разобраться... Потому что эти великие мыслители, о которых я единственно имел представление, они все были юристы. Значит, наверно, это знание права дает ключ к пониманию оснований общественного бытия. И тут я слету, конечно, поступил, все нормально. И стал учиться».*

Можно предположить, что нашего героя ждала впереди бюрократическая карьера, поскольку юридическая работа «во многом - жуткая рутина». Такой профессиональный путь с трудом совместим с гуманистическими устремлениями рассказчика. Судьба человека не интересует чиновника, а, по мнению Эдика, юрист - это *«тот же инженер: ну, ходишь на практику и видишь, как там решаются вопросы относительно судьбы конкретного человека. Судьба конкретного человека, в общем, мало волновала чиновника от юриспруденции, его волновал процесс, его волновало, чтоб он не совершил ошибку перед лицом вышестоящим и пр. Сегодня я бы сказал, что **чиновник не может быть гражданином**».* Отказавшись от карьеры чиновника, он решает заниматься научной деятельностью.

НОВАЯ НАУКА КИБЕРНЕТИКА увлекает его. Он понимает ее как науку управления процессами, науку, рационализирующую процессы: *«Беспокойство, зуд мне сильно не давал покоя. Поэтому стал я заниматься наукой. <... > У нас организовался почти с первого курса кружок кибернетики - новые идеи. <...> Вообще у нас две такие революционные, меняющие немножко сознание и допускающие нас в мир идей и соображений, которые вообще для всего мира были уже совершенно очевидны и достаточны. Эти две области знаний и понимания мира — это генетика и кибернетика. Я стал заниматься кибернетикой в сфере права. Дипломная моя работа была посвящена программированному получению юридического образования. <...> Мы задумывались над проблемой логической обработки юридического закона. Идентификации и поисков пробелов, и прочее. <...> Это было новшество. Оно было воспринято на ура, и нам с товарищем надо было написать статью, и вот Керимов опубликовал в «Науке и жизни» эту статью под своим именем <...> Ну это смешная разработка, я сейчас это понимаю, но тогда это было очень, так сказать, диковина большая».*

Это поколение с большим опозданием, но с сильнейшим энтузиазмом осваивало научные знания. Чувство свободы подталкивало молодежь к беспрецедентной наглости, с которой она изобретала велосипеды. Эти автодидакты (как называл это поколение В. Голофаст, также относящий себя к этой категории) создавали плодородную почву для дальнейших поисков в сфере исследований современного российского социального порядка. Без их интеллектуальной работы невозможно формирование самобытного социологического мышления, ориентированного на анализ конкретного общества. Доморощенность, иными словами мысль, выросшая из проблематики локального социального опыта, как считает наш автор, *«тоже имеет некоторые преимущества. Сейчас я могу про это сказать, <...> уже сколько лет прошло»*. Каковы же эти преимущества, что именно имеется в виду? На наш взгляд, к ним можно отнести цельность познания, соединенного с жизненным опытом исследователя. В советское время доморощенность и провинциальность российской социальной науки были неизбежны - холодная война создавала непреодолимые информационные границы. Однако рефлексивные потребности современного бытия, так же как советская бюрократия, стимулировали социологический поиск. Социология становится элементом реформаторского сознания и реформаторского действия. Люди этого поколения в 60-е годы верили, что все еще можно перестроить, сконструировать, что можно рациональным путем на основании научного социально-кибернетического подхода создать новое гуманное социалистическое общество.

Для таких людей характерен общественный темперамент, который наш автор называет генетически заложенным (опираясь в этом на память о своем отце): *«Зуд общественной активности не давал покоя — это были гены, что ли. Какой-то, видимо, зуд во мне был, вот, поэтому, наверное, с третьего курса я стал председателем студенческого научного общества. <...> Учился <... > достаточно хорошо, средний баллу меня был 4,5 по окончании, и распределяли нас на четвертом курсе»*.

При анализе данного нарратива трудно удержаться от гендерно-ориентированного замечания: рассказ о профессиональной карьере - мужская биография - практически не прерывается интерлюдиями о личной жизни. Только когда речь зашла о распределении после окончания университета, оказалось, что решение надо принимать с учетом семейных обстоятельств и жилищного положения. Вообще-то, при всем старании обойти деликатным умолчанием приватную и интимную стороны жизни, которое характерно для данного интервью, информант раскрывает перед нами тему личной ответственности за своих близких - тему, которая является фоном нарратива, а часто - основой жизненного выбора в заданных структурных условиях. Именно эта моральная ответственность за материальное обеспечение семьи становится причиной ранней экономической самостоятельности героя, выбора профессии, места рабо-

ты. Либеральный индивидуализм так же, как и пренебрежение к другому человеку, не свойственны нашему герою.

Описывая выбор предполагаемого места работы в провинции, он рассказывает: *«К четвертому курсу я уже был женат... Мне надо было каким-то образом устраивать свою жизнь, а тут я понял, что это будет достаточно квалифицированная и серьезная работа, и, в общем, из Питера все равно надо будет уезжать, здесь никаких перспектив, и с жильем ничего нет».*

Однако в меняющемся мире сплошь и рядом людей подстерегают неожиданности. Нормативные жизненные пути - институционализированные «нормальные» биографии - ломаются. Эти поломки связаны с новыми перспективами, с институциональными реформами. Они дают шанс избежать обычного и бросают вызов личности. И тут действительно появляется возможность выбора. Можно идти по наезженной дорожке, получить распределение и уехать туда, куда Макар телят не гонял. А можно, напротив, сделать шаг вперед (или в сторону), в неизвестность. Для этого нужна вера в себя и в то новое, которое станет твоим делом жизни.

ЛАБОРАТОРИЯ

В истории советской социологии середина 1960х - это еще время открытий и новых свобод, время институционализации социологии. Возникали новые учреждения, безумные междисциплинарные проекты; казалось, что все еще движется.

«В 65 году, практически в момент выпускных экзаменов в университете, благодаря авторитету Ананьева и пробивной силе проректора и профессора, и заведующего кафедрой теории и истории государства и права, Керимова, той, по которой я защищался, был создан институт комплексных социальных исследований при Санкт-Петербургском университете. Молодых и талантливых туда даже приглашали». Так случилось и с Эдиком. В НИИКСИ он пришел на должность лаборанта.

«Я был молодой и активный, <... > лез во всякие дырки независимо от того, что у меня звание младший, необученный и так далее... На всяких семинарах выступал, чего-то там пытался писать, чего-то мы там обсуждали, было время, кстати сказать, очень любопытное по брожению умов. По брожению идей, по обсуждению очень многих новых проблем, для нас вообще, которые не были до этого предметом обсуждения... Было очень интересно... Я, в общем, в этом участвовал и буквально через два месяца меня

перевели <...> на должность младшего научного сотрудника, что, в общем, и соответствовало <...> полученному образованию».

«Это была, на самом деле, такая романтически красивая пора; во-первых, первый в стране институт, который был в таком двойственном положении. Официально социологии не было. В 65 году её ещё не было, социологии, а институт был... Мы обсуждали проблемы, которые не худо бы вообще никогда не бросать обсуждать: что такое социология, что за предмет, какие задачи она перед собой ставит, какие методы и так далее. То есть некоторые вопросы такого общего свойства, фоновое свойства, которые для социолога, вообще говоря, чрезвычайно важны. Если он не знает, что такое социология, но умеет проводить опросы, то вообще мне странно называть такого человека социологом. На самом деле наверняка он и опросы проводить не умеет... потому что он не знает для чего. Вот все эти вопросы о социальном факте, о соотношении эмпирического и теоретического, о редукции. Все это было постоянной темой для разговоров, споров, которые были в течение двух лет почти ежедневно»...

Была организована лаборатория управления. Затем из лаборатории управления Эдик переходит в юридическую лабораторию.

Уже тогда, в романтический период социологической карьеры, стало очевидным столкновение старого и нового, социологов по призванию и бюрократов или социологической номенклатуры. Деликатный Эдик описывает их в таких терминах: «человек очень не творческий», «очень мало образованный», <...> «человек с необыкновенным нюхом, сочетание необразованности и административных способностей, приобретенных в должности председателя колхоза», «человек, который может не разговаривать со студентом 4-го курса»...

Рассказчик противопоставляет себя данной категории людей. Одновременно его рассказ указывает на то, что он от них зависел, а они нередко использовали его в своих интересах: «Во мне кипело по молодости лет, идей было до черта, и их раскидывалось вокруг сколько хочешь, и он часто у меня консультировался по разным вопросам. Мне было не жалко. Мне было даже лестно немножко, что он... И поэтому он и пригласил меня в эту лабораторию, я стал там работать». Подпись профессора под статьей, написанной двумя студентами, интеллектуальные дары, представление о собственном интеллекте как о коллективном благе - все это ведет социологов к уменьшению личной ответственности, с одной стороны, и к потере чувства авторства, с другой. Далее мы покажем, что следствием этого является тайное теневое авторство,

которое не признается в мире публичного слова. Однако вернемся к многообещающему оптимистическому началу карьеры, ко времени «брожения умов».

В жизнеописании рассказывается о значимых людях. Среди них не только экзистенциально важная фигура отца, но и товарищу-коллега, общение с которым представлено как жизнеобразующий опыт: *«Ятам познакомился с человеком, которому я действительно в интеллектуальном плане обязан, в плане технологии работы, в плане постановки вопроса и попытки выстраивания творческого поиска, Львом Ивановичем Спиридоновым, бывшим адвокатом. Он тоже защитил диссертацию по колхозному праву, но было ему все равно, где защищать... В общем, надо было получить статус, он получил, по-моему, за полгода - написал диссертацию и защитил. И пришел потом в юридическую лабораторию.*

<...> Познакомились мы с ним, <...> когда я был на практике. <...> Ты сидишь в камере, в которую приглашают обвиняемого, и он знакомится с материалами законченного следствия по уголовному делу, а ты должен просто при этом присутствовать и смотреть при этом, чтобы он... не выдрал страницы или там еще чего-нибудь такое. Пришел к подследственному этому, обвиняемому, адвокат Лев Иванович Спиридонов. Он с ним беседовал, а я в это время читал книжку. И как я помню сейчас, я читал, по-моему, из «Памятников истории». Вот у нас такие зеленые эти книжки, «Литературные памятники», письма Марата.

Сидеть в камере и читать эту книжку - это на него произвело впечатление, он со мной разговорился, вот мы так и познакомились. <...> И завязалась у нас достаточно тесная дружба. Такая интеллектуальная дружба. В общем, наша работа, ну, кроме нескольких проектов, которые осуществлялись там параллельно». Первое исследование, в котором они сотрудничали, было посвящено правовой пропаганде, тому, как советское население относится к праву, что оно под ним понимает и так далее. Это уже был 68 год.

Каковы же критерии, по которым наш герой оценивает своего друга как мэтра? В какой-то степени Лев, конечно, мэтр, потому что он был чрезвычайно «эрудирован, образован и много чего знал». Во-вторых, привлекательным был стиль интеллектуального общения, который он демонстрировал. Он вел обсуждение так, что *«это вовсе не означало, что он говорил, а мы все там внимали. Все спорили, все чего-то обсуждали и так далее»*. Этот человек по-

рождал общение, ставшее значимым для определенной социологической среды: *«Шли по городу, шли по Красной улице на площадь Труда, <... > еще совсем недавно так называлась, и шли, например, до Спаса на Крови, до того садика. Там сидели, и в течение всего этого времени заходили во всякие кофейни и пили кофе, и продолжали спорить, продолжали что-то обсуждать животрепещущее, очень важное и вовсе не какие-нибудь бытовые проблемы, а вот такие вот высокие материи, которые казались нам чрезвычайно важными».*

В жизнеописании вновь и вновь возникает тема Ленинграда. Город и его культура представлены как сцена, которая делает возможным рассуждения о смысле индивидуального и социального бытия, провоцирует и сопровождает экзистенциальные вопросы. Для этого города значима не только бездушная бюрократия «желтизны правительственных зданий». Питерская публичная сфера - общественное пространство, открытое для дискуссий - кафе и кофе, пешеходные прогулки с друзьями и беседы - в этом тексте становится символом духовных и профессиональных поисков.

В это время появились и первые результаты работы нашего героя в области социологии права, которые он до сих пор оценивает как значимые. В конце 1960-х появилось некое поле, которое требовало изучения: а что же, собственно, представляет собой право как некий социальный, а не чисто юридический феномен?

«Поскольку мы были уже... по тем временам сложившимися социологами и по образованию юристами, вот, то социальный механизм действия права стал нашей предметной областью. Нас не удовлетворяло то, что было сделано Никитинским, потому что это казалось нам чисто правовым исследованием, <... > однако позиция нашей группы была иная: мы уже <... > представляли, что право само по себе действовать не может, оно вообще всего-навсего какой-то инструмент и является результатом каких-то совершенно иных процессов». Тема «эффективности действия правовых норм» стала центром внимания исследователей.

Работа в научном коллективе, предводительствуемом мэтром, имеет свои особенности. В этом, на первый взгляд, «сообществе равных» все равно есть некое распределение ролей, которое предполагает стратификацию. Кто-то оказывается лидером, ответственным лицом и Автором, кто-то публицистически распространяет новое знание в широкой аудитории, иные осуществляют научное обслуживание. Все эти роли легитимны и хорошо прописаны в социологии научного сообщества. Но мне представляется, что довольно мало осмыслена специфическая роль - роль творческого импровизатора, того, кто устно формулирует темы и идеи в компании ученых-исследователей, того, кто думает

вслух и создает творческую атмосферу, довольно часто оставаясь в тени публичного дискурса. Этакая теневая фигура науки. Устные творцы «не считаются», их роль недооценивается. Иногда это связано с тем, что в публичной презентации знания - в печатном слове - они не так успешны, как в устных формах его порождения. На наш взгляд, в пространстве нового знания и в условиях советских форм функционирования науки такие фигуры тем более значимы, чем менее заметны.

«На самом деле функция моя была первое время такая, которая была связана с тем, что я сидел рядом, он все это обсуждал со мной, а писал сам».

Роль нашего героя в атмосфере научного сообщества именно такова - это, во многом, роль устного творца идей, которые затем подхватываются, разрабатываются и выводятся в публичность другими. Такие люди, невидимые посторонним, чрезвычайно значимы для достижения любого интеллектуального результата, они создают «незримый колледж», поле дискуссии. Таких людей очень много среди поздних шестидесятников и социологов 70-х годов. Мы можем назвать имена Сергея Розета, Юрия Щеголева и др. Для того, чтобы достойно оценить роль этих людей в развитии социального знания, нужно пересмотреть концепцию авторства. В социологии автором редко бывает один человек, хотя часто текст подписан одним лицом. И благодарности в сносках не решают проблемы: признание коллективного авторства должно сделать видимым невидимую работу в науке.

Принятие на себя такой роли связано не только со спецификой функционирования советского социального знания, которое выросло в перипатетических беседах друзей-товарищей и оформлялось в специфических научных коллективах, но и с личными особенностями исследователей. Одна из таких особенностей - **комплекс перфекционизма**, стремление к немислимому совершенству, которое не дает Эдику окончательно оформить мысль в тексте. Сколько раз мы слышали от нашего автора низкую оценку самого себя! Он не может решиться сделать то, что непоправимо - написать текст, где в своем авторстве не стыдно было бы признаться. Ему не хватает храбрости авторов, которые, считая свои тексты далекими от совершенства, тем не менее не возвращаются к ним, сменяют позиции, но так или иначе заявляют о себе на публичной арене.

Рассуждая о проблемах собственного научного труда, наш герой так формулирует дилемму перфекционизма: *«Мы написали книжку по результатам исследования. Половину этой книжки я написал, лично. Мне это было крайне интересно, хотя, конечно, писал я всю жизнь тяжело... Ну, тяжело по той причине, что задачи, которые я перед собой всегда ставлю, пытаюсь чего-то такое написать, превосходят уже сложившиеся представления, я не пишу то,*

что знаю. Я пишу о том, чего хочу увидеть. Я пытаюсь в процессе написания решить эту задачу. И вот так была написана книжка... Это были, можно сказать, нечеловеческие интеллектуальные усилия как-то пытаться прорваться через вязкость каких-то понятий, определений, разорвать порочный круг нор-мативистской концепции права, выйти на какой-то простор, понять, как она действует. И там нам, видимо, чего-то удалось. <... > На самом деле [книга — Е.З.] писалась для тех людей, которые задумывались над теми же проблемами [что и мы - Е.З.], которых не удовлетворял чисто технократический подход к праву, к чисто процессуальному решению, т.е. делай, как там записано в законе, и так далее...»

НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ДИССЕРТАЦИИ

Работа, которая должна была завершиться защитой диссертации и получением научной степени, не привела к ожидаемому результату, не принесла новой статусной позиции. Мы сталкиваемся здесь с **массовым феноменом незащищенных диссертаций**, типичным для этого поколения. Этот феномен нуждается в социологическом осмыслении: трудно не увидеть в нем сбой профессиональной карьеры. Разве это было так трудно? Что же помешало многим и многим талантливым социологам, работавшим в 1970-х и 1980-х, остановиться перед этим не столь уж и трудоемким шагом. Обратимся вновь к авторскому тексту. Рассказчик считает одной из причин, затрудняющих защиту диссертации по его теме, структурную специфику социального знания, в котором до сих пор существуют жесткие дисциплинарные границы. *«В предисловии, а... которое писал к этой книжке... Олег Самойлович Ялич, профессор кафедры теории права, он говорил, что ...хотя книжка на правовую тематику, но [выражен в ней — Е.З.] совершенно очевидно, взгляд не правоведа, конкретно [там рассматриваются - Е.З.] проблемы социологов. А в ту пору, дай в последующем, много раз и сейчас, может быть, менее жестко, я сталкивался с тем, что если сегодня мой дисциплинарный подход - это считается хорошо, то и тогда на словах считалось хорошо, но только защититься с этим подходом нигде было нельзя, потому что ты не должен был выходить за рамки дисциплинарных воззрений. Это должно быть в определенной дисциплине, скажем, теория государства и права, а там все вполне определено. Там есть... норма права, там есть правоотношение, есть и такие вещи, которые трактовались уже вполне определено, и, извини меня, либо ты должен тогда... вообще на философском факультете чего-то про право писать, но уж никак не на юридическом. В общем, возможно, у меня бы даже и с защитой ничего не получилось».*

Вторая причина, к которой отсылает автор, - так называемые семейные обстоятельства, сложности личной жизни, заставлявшие людей отказаться от

утвержденных сценариев: *«Дело в том, что в то время просто на полном скаку я был вынужден остановиться и два с половиной года работать действующим практикующим юристом в Эстонии, потому что возникли всякие проблемы с жильем, семейные проблемы и так далее».*

Эти причины, как нам кажется, не являются достаточными для объяснения массового феномена ненаписанных диссертаций. Следует также упомянуть и изменение статуса социологии - ее быстрое превращение в сервильную советскую науку, и требования политической лояльности, которую должны были демонстрировать социологи, и недостаточность материальных стимулов, и бегство от статусных позиций, типичное для поздних шестидесятников, которые знают цену советским рангам. Отказ от карьеры объясняется сознательным занижением общественных амбиций в сложившихся социально-политических обстоятельствах. Это один из признаков приватизации жизни, смысл которой смещается в неформальную сферу дружбы, семьи и «неформальной публичности». Так происходит подтверждение сценария, хотя первоначально казалось, что защита диссертации лишь отложена на неопределенный срок.

НОМЕНКЛАТУРА

Итак, наш рассказчик проработал в НИИКСИ 12 лет, а затем уехал жить и работать в Эстонию в 1975 году. Эстония - это новый опыт его жизни, опыт номенклатурной деятельности и межкультурной коммуникации. Работа, на которую его устроили по знакомству, гарантировала решение острого для новой семьи (Эдик развелся и женился второй раз) жилищного вопроса - он быстро получил отдельную квартиру в Таллинне.

«Я уехал в Эстонию, <...> занимал статусы, которые совершенно мне не по характеру. Я был начальником юридического отдела республиканского министерства. <...> Мне это было совершенно диковинно и чуждо, прямо попал в такую чудовищную чиновничью среду, которая, в общем, дала определенный опыт и была очень полезна с точки зрения того, что начинаешь кой-чего понимать из того, что происходит там где-то вот в таких сферах, в которые, вообще говоря, ты в них не вхож:...»

Близкое знакомство с механизмами советского планирования и составления статистической отчетности заставляют нашего *социального конструктора* усомниться в возможности рационального управления. Он становится участником кафкианской ситуации, когда *«целое министерство ничего не решает, оно выполняет идеологические задачи. И больше ничего... И никакой чиновник, будь он руководителем отдела, заведующий и так далее, на самом деле, он*

просто цепочка, исполнитель... в определенном звене каких-то совершенно непонятных, чуждых тебе [обстоятельств — Е.З.]... Тыне должен понимать, чего ты делаешь. Ты должен исполнять, что тебе скажут. И это делает целое министерство».

Чиновничья работа оказалась не по силам нашему автору: *«Это совершенно другая атмосфера, абсолютно чуждая, <...> совершенно другая манера работать, поскольку я же привык к тому, что я должен решать интеллектуальную задачу, а этого от меня не требовалось <...> Попытаться быть исполнителем и одновременно подойти творчески, и в то же время абсолютно быть белой вороной среди своих коллег - все это очень тяжелое испытание».*

Мы мало знаем о повседневности чиновничьей работы. Рассказчик, внимательный к подробностям жизни, иллюстрирует жесткую атмосферу номенклатурной среды, к которой он принадлежал: *«Такой небольшой итрих. Когда идет заседание коллегии министерства — это министр, его замы, начальники отделов и <...> ряд представителей других министерств, — внизу у здания министерства стоит машина скорой помощи. Потому что многих с сердечными приступами от разгонов и так далее на некоторых <...> коллегиях просто увозили в больницу».*

Не останавливаясь подробно на особенностях работы в министерстве, отметим только, что социологу она дала понимание механизмов работы советской государственной машины: давление на республиканские власти, произвольные планы, спускаемые сверху с показателями по нарастающей, без учета региональной специфики производства, подмена и сокрытие статистической плановой отчетности со стороны региональных и отраслевых исполнителей, - все это он узнал не из статьи Селюнина и Стреляного «Лукавая цифра», которая наделала столько шума в начале эпохи гласности.

«Я понял, как работают все: берут некий предшествующий показатель, и на 5-2% увеличивают, чтобы было получше. И так все, потому что никакого учШа, никакой суммы по некоторым показателям [получить было нельзя — Е.З.]... Масса была всяких выдуманных показателей, которые на самом деле просто для характера эстонской промышленности не годились. [Для эстонской промышленности характерно, например, - Е.З.] Мелкосерийное производство. Какие долговременные связи могут быть для мелкосерийного производства? И, тем не менее, прости меня, мы должны были давать показатели долговременных связей все время это выше, выше, выше, выше... и так далее. Ну вот, поэтому все время это и выдумывалось. Поэтому все, что про статистику я могу сказать, это то, что все это высосано из пальца, ничему абсолютно не соответствует».

В это время наш автор ощущает тоску по социологии, которая воспринимается им на фоне бюрократии и статистики как истинное знание и свобода творчества: *«Статистика и эмпирическая социология ну просто различались между собой как ложь и правда. [В социологии — Е.З.] Мы владеем какими-то средствами выборки, средствами репрезентативности и так далее. И тоска была безумная, естественно, связанная с тем, что дайте мне, наконец, вернуться к этому делу!»*

ВОЗВРАЩЕНИЕ. ИСЭП

Ностальгия была вскоре удовлетворена - произошла смена министра, а затем и изменение команды министерства, нашего героя с легким сердцем отпустили, и он вернулся в 1979 году в Ленинград с женой и ребенком (Таней и Асей).

«Очень хорошую» трехкомнатную таллиннскую квартиру поменяли на двухкомнатную, в первом этаже в Купчино. Надо было срочно найти работу, чтобы не было перерыва в стаже, который влиял на последующее обеспечение пенсией и карьерные возможности. В чиновники не хотелось, НИИКСИ к этому времени стал разваливаться, многие ушли в Институт Социально-Экономических Проблем - новое учреждение с программой междисциплинарных исследований и комплексного подхода. Нужно было срочно найти какой-нибудь выход.

На помощь, как это часто бывало на советском административном рынке, пришла собственная репутация и профессионально-дружеские контакты. Посмотрим, как работал этот механизм.

Эдик имел репутацию подающего надежды относительно молодого исследователя и порядочного человека, кроме того, в его послужном списке значилось эстонское министерство. Что касается пятого пункта и семейного положения, то и тут у него все было «как надо». Однако все эти факты - репутация, послужной список, пятый пункт и семейное положение ничего не решали, а лишь создавали благоприятный фон для получения «приличной работы», не более. На помощь пришло пресловутое «вдруг», спасительное «вдруг», близкий родственник «авось», не раз выручавшие советских людей. А.В. Дмитриев, который был в тот момент зам. директора ИСЭП, поддерживал контакты со старыми кругами из НИИКСИ, и друзья посоветовали Эдуарду обратиться прямо к Дмитриеву.

Решая проблему, связанную с получением позиции на административном рынке, необходимо было идентифицировать ключевую фигуру, от которой могло зависеть властное решение, затем найти выход к этой ключевой фигуре и тогда «все может образоваться», если повезет, конечно. Личные сети, нефор-

малыше связи работают здесь как каналы мобильности. *«Но вот когда я пришел в ИСЭП к нему, он сказал, <...> подавай заявление. И был я принят на какую-то временную ставку ... Это решило мою судьбу... Я достаточно быстро устроился, уложился в месяц, и тут началась, конечно, уже совершенно новая полоса в биографии».*

Изменилась научная тема, Эдику пришлось заниматься опять совершенно новым, чужим делом, и опять он «быстро включился», и опять было не до диссертации, потому что сначала читал все, что наработал сектор... В конце концов, он увлекся этой *«своеобразной доморощенной урбанистикой».*

Работая в ИСЭПе в течение последующих десяти лет, вплоть до перестройки и кризиса этого учреждения, Эдик, как и другие исследователи, постепенно осваивал мировую дискуссию, параллельно выдумывая что-то свое: *«На самом деле некоторые вещи удалось разглядеть Марату Межевичу. Хотя, конечно, Марат принадлежал к поколению, которое было воспитано на определенных ценностных идеалах: было несколько таких пунктов, которые он принимал как аксиомы и... очень раздражался, когда на них каким-то образом, так сказать, шел накат: одной из этих ценностей был коллективизм, некоторые сейчас я даже уже не помню...»*

Открытием того времени была методологическая регионалистика, которая выросла из критики территориально и отраслевого планирования, типичного для советского хозяйства и политической экономии: *«Проблема различения отраслевого и территориального, проблема, каким образом строить экономические отношения, трактовалась чрезвычайно любопытным образом. <...> Все, кто хорошо понимал неэффективность советской экономики, тосковали по эпохе совнархозов. Это отраслевая организация планирования, когда территория рассматривалась как некоторый экономический субъект, выдвигалась идея региональной экономики... Но, в общем, все это ни к чему не приводило, но, тем не менее, вылилось в идею регионального хозрасчета. Я думаю, что этот вопрос актуален и сегодня. Конечно, совершенно в другой постановке, с другими экономическими субъектами, другими... другими связями и так далее».* Эти идеи действительно развиваются сегодня, например, в программах регионального развития (вспомним Леонтьевский Центр в СПб).

Идеалы шестидесятников, последних романтиков, своего рода марксистов-ревизионистов, опирались на некоторые догмы, не подлежащие сомнению. Эдик, вернувшись к знакомым ему практикам коллективной работы, вновь становится одним из тех, кто идет в упряжке. Он остается как бы между поколениями: слишком молод для шестидесятников, уже слишком умудрен для молодого поколения. Они делали по инерции работу шестидесятников в период, когда новое поколение, да и многие из прежних социальных прорабов, отходили от дел по разным причинам. В.А. Ядов и Б.М. Фирсов в начале 1980-х вы-

нуждены были покинуть институт в связи со своей идеологической «непригодностью», молодежь становилась все более критичной и практичной.

Как же выглядел этот серьезный, преданный делу социологии человек в глазах развеселых молодых сотрудников ИСЭПа, которые тусовались, читали «Иностранную литературу» и «Новый мир», выпивали и распространяли самиздат, пели песни и занимались любовью, становились все более циничными, не веря больше ни в социологию, ни в перспективы советского общества? Рассказ в рассказе звучит так:

«А. С. долго потом вспоминала, как воспринималось мое появление: Пришел какой-то бородатый дядька с мрачным видом, вот, все, значит, как бы тусуются и прочее, а этот сидит и чего-то пишет. Все время читает, все время пишет и читает и наши отчеты, и наши эти самые, все изучает чего-то. Ну, говорит, полный кретин и дурак. Прямо, говорит, совершенно подозрительный тип. Чего-то он там изучает и так далее».

В глазах новых людей он был уже слишком серьезным «дядькой» - оставший шестидесятник, который с некоторым запозданием пытается играть в серьезные игры там, где это не вполне уместно. *«Я вникал еще, А. меня и боялась. Мрачный тип сидел и вникал. Вот...».*

Однако постепенно у нашего героя сформировалось неутешительное представление о своей профессии и «своей» науке. Он оказался между двумя поколенческими парадигмами. С одной стороны, он разделял идеи и опыт тех, кто начинал социологию и верил в нее, - среди них он был младшим. С другой стороны, он разделял мысли и практики тех, кто стыдился своих занятий этой партийной наукой, - среди них он был старшим. К концу 1980-х он переосмыслил роль социологии в обществе, его рассуждения типичны для многих из нас, пришедших в социологию в 1970-е, по разным причинам и из разных мест. *«Я-то для себя очень четко понял, что сегодняшняя социология, официально признанная, имеет партийное происхождение. Это было ясно и в начальный период в 1960-е годы. Тогда, в 65 году, она имела такое какое-то... конъюнктурное происхождение, связанное с идеями и проблемами карьеры определенных научных чиновников, которые на новизне, на новой волне хотели, так сказать, продемонстрировать свою полезность высоким партийным кругам. Кстати сказать, этому обязано и социальное планирование. Советская социология — это, хотя такой странный, но, в общем, довольно полезный, не совсем бесполезный опыт, хотя и очень формальный».*

Можно ли быть счастливым, душевно спокойным, если так понимать свою профессию, которая когда-то - не так давно - мыслилась как призвание, выражаемое в горячке мыслей и «научном бульоне»!

Рассказчик сам отмечает, что к концу 1980-х оказалось, что в его профессиональной биографии было несколько отчетливо различаемых периодов, связанных с разными темами, с разными учреждениями, с разным типом работы. На наш взгляд, это удачно - заниматься одним и тем же все время скучно и несовременно, к тому же мало продуктивно. Перемены - миграции - нормальны для жизни современного человека. Но в глазах советских граждан того поколения и социального круга это было довольно необычным. Такие перемены за редкими исключениями номенклатурных назначений не предполагали занятия высоких постов и значимых карьерных продвижений. *«Если бы меня в какой-нибудь из периодов моей жизни спросили, что является предметом моего исследования, то в каждый период это был бы совсем другой. Это и хорошо, и, наверно, плохо. С одной стороны, это... каждый раз какой-то новый опыт. Вот. Так много раз приходилось начинать вообще с начала, <...> к тому же как бы не всегда по собственной инициативе, это не потому что у меня возникал какой-то интерес к какой-то задаче, которую я должен был решать, потому что я ее перед собой поставил».*

ПЕРЕСТРОЙКА началась в середине 1980-х гг. Но брожение, недовольство, гонения - все это социологи испытали в конце 1970-х - начале 1980-х. Вспомним работу социологического диссидента Андрея Алексеева (бывшего сотрудника ИСЭПа) «Ожидаете ли Вы перемен?». Уже после смерти Брежнева пошла политическая чехарда, всякие «шатания», что-то стало меняться в воздухе, напоминая возмужавшим поздним шестидесятникам оттепель, когда они заканчивали школы и учились в университетах. Это был знакомый запах, который возвращал оживающих шестидесятников к юности, как запах дешевых сигарет, которые курил в детстве.

Что же случилось в середине восьмидесятых? Эдик напоминает нам, что тогда было издано постановление политбюро ЦК КПСС об укреплении и развитии социологической науки, впервые была определена в ВАКе специальность «социология», которая до того вообще не существовала. *«Если говорить строго, то, вообще говоря, я — юрист, потому что мы не имеем и не могли иметь официального образования социологического по той причине, что его просто не было, социологии не было официально... Это время большого брожения в социологической ассоциации и с выборами нового президента, Татьяны Ивановны Заславской, со скандалом и с уходом Ельмеева с компанией и так далее. Вообще такое бурное время... А в 89 этот процесс закончился расколом ИСЭПа на две части и отделением ИС АНА. Вот. Но вот тут уже как бы стало ясно».*

И снова наступило время выбора, начали возникать новые учреждения, и снова, как в юности, открылись новые возможности. Встал вопрос, не начать

ли еще раз заново? Хватит ли сил и энтузиазма? Достаточно ли навыки? Если долго думать и рефлексировать, то, конечно, ответишь на все эти вопросы -«нет». Уже поздно и правила неизвестны, и капиталы недостаточны, и «осторожность - прежде всего», и, вообще, «хлопот не оберешься». И хорошо бы это все случилось хоть на десять лет раньше! (Это напоминает ситуацию с контрацептивами: если бы у нас была высокая контрацептивная культура в советское время, то кто бы рожал?) Слава богу, что есть такие самонадеянные, надеющиеся на «авось» и довольно отчаянные ребята. Это, в основном, те, которым терять нечего, расставаясь с советскими структурами. Безрассудство и остатки авантюризма, а также верность шестидесятилетним идеалам и надежда на себя и друзей заставила несколько человек начать все сначала, использовать второй шанс. Попробовать еще разок в «возрасте акмэ». Для Эдика с его опытом миграций, может быть, это было легче, чем для других. Кроме того, он раз и навсегда предпочел для себя роль «второго коренного».

РЫНОК

«Тут появились ТО — товарищества с ограниченной ответственностью, появились кооперативы и так далее, и был ЛенСНИЦ, в котором работал Роман Могилевский <...> и еще ряд людей, с которыми я давно и хорошо знаком, и я ушел к ним. <...> Это был очень любопытный опыт по той причине, что вот здесь уже впервые пришлось понюхать работу, связанную с неким таким типом западной организации исследовательской работы, и тут я понял, что мы к этому плохо готовы».

Новый рыночный опыт обозначил недостатки советской академической работы, выявил сложности адаптации опыта научного коллективизма и роли «тайного творца» к новой ситуации. *«Не было формализованных технологий, методов... которые просто повторяются в различных исследованиях. Учились рынку на ходу. <... > Эта работа была связана с тем, что ты не просто исследуешь, а еще этим зарабатываешь, это договорная работа, где ты должен заказчику в определенные сроки представить некий продукт.... Причем продукт ясно выраженный, понятный... это <...> были какие-то предложения, которые устраивали твоего заказчика».* Здесь обнаружилась существенная разница подходов: навыки работы в академической науке, решающей некую общую теоретическую проблему, плохо сочеталась с необходимостью решать конкретную задачу, которую ставит заказчик.

Рыночные требования напрягают всех нас - одних больше, других меньше. Они создают трудности и для людей, живущих в современном мире в раз-

витых постиндустриальных обществах. Наши особенности в том, что у нас в коллективной памяти нет собственных отлаженных образцов совладания со сложностями рынка. Эдик формулирует эту моральную дилемму предельно жестко и нелицеприятно в отношении себя: *«И я сломался. Я сломался, потому что стереотипы и опыт предшествующей исследовательской работы и новые требования, которые стояли перед конкретной работой, пять договоров в год - не совпадали. Теперь нормой было пять исследований в год, А я, предположим, привык к исследованию, которое длится два и три года итак далее, надо было подумать, э... обдумать это... Здесь надо было делать все одновременно, продумать методiku, и то, и другое, по пяти исследованиям».*

Психологическая цена рыночных реформ для людей, много лет проработавших в режиме советских организаций, чрезвычайно высока. Новые ритмы сказываются на здоровье. Это бывает не по силам чисто физически. Во многом это случай нашего героя: *«В 90 году я получил на этом инвалидность. Вот, и тоже решил уйти на пенсию. Что из этого получилось, ты знаешь»*, — говорит он своему интервьюеру, Виктору Воронкову с которым они организовали Центр независимых социологических исследований. Центр и сегодня не только держится, но и растет и постепенно перерастает своих дерзких и уже стареющих отцов-основателей. Еще немного - пара-тройка диссертаций отличного качества - и отцы-основатели могут быть спокойны за свое детище: молодежь не отступится и новое собственное социологическое дело не бросит.

Тогда, почти 15 лет назад, они попробовали снова стать двигателями истории, и им удалось дать ход новому делу. Тогда на смену мощным структурным факторам, тормозящим инициативу, появились возможности создать структуры нового типа. Как оказалось, для этого нужны чувство товарищества, социологическая компетентность и вкус, а также достаточные запасы выдержки и здоровья.

«Появилась возможность <... > поучаствовать в живом процессе, создать учреждение нового типа, которое все-таки будет делать не подцензину, а будет исследовательским учреждением... Открывалась перспектива строить некую свою политику в отношении исследований, связанных с интересными проблемами, и так далее, поэтому, в общем, раздумывать не о чем было. Это был, в общем, единственный путь, и, как оказалось, очень правильный, и судя по тому, что сегодня происходит, в общем, достаточно трудный и удачный, <... > и, судя по реноме, которое сложилось у института, <... > это действительно говорит о том, что направление было выбрано правильное и удачное, это оказалось привлекательным для большого количества людей, это дало шанс многим людям и они им воспользовались тут же. Я считаю, что, в общем, конечно, это очень удачный, удачный поворот судьбы».

Какова же **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ** нашего автора? Как он сам отвечает на этот вопрос, рассказывая творческую биографию старому товарищу, коллеге, с которым он был знаком более тридцати лет? Мы видели, что это жизнь, в которой было много переломов, во многом нашего героя вели судьба и случай. Лишь в последнее десятилетие (и в краткий период оттепели) он, как и многие из нас, становится активным создателем своей истории. И это происходит тогда, когда за плечами более половины земного пути. Слом системы неизбежно сказывается в людях этого поколения как физиологический слом - не миновало это и нашего героя. И хотя часто ничего не хочется, кроме цианистого калия (это его слова) и сил меньше, чем хотелось бы, и во многом изменились взгляды, но стержень личности сохраняется и, вспоминая жизнь, автор подводит итоги и выносит диагноз себе. Наше дело - слушать и запоминать:

«Идентичность у меня непонятно какая... Я скорее макро-социолог, <...> так получилось. Это потому, что первоначально я был теоретиком права. С юности я должен был задумываться о больших социальных институтах и их месте в большом обществе. И этот отпечаток на мне лежит, и я поэтому, видимо, при всех тех конкретных вещах, которым мне приходится заниматься, например, здоровьем, бедностью и проч., я все-таки остаюсь макро-социологом... Мое собственное место в социологии, в общем, какое-то непонятное, потому что у меня такая странная характерологическая черта, что я об этом [о своем месте - Е.З.] не задумываюсь, меня так поглощает сама задача, которую я решаю, что какое это место [она - Е.З.] занимает там в этом самом [знании об обществе - Е.З.], я не знаю. <...> Я думаю, что, в принципе, есть несколько работ, которые я сделал в своей жизни, которые являются абсолютным новаторством».

Перечислим вслед за автором те его работы, которые он считает значимыми для него и для социологии. Во-первых, это монография «Эффективность правовых норм»: *«И хотя эта книжка написана совершенно в другой реальности, <...> социальный механизм действия права там описан, тем не менее... так, как его еще не описывали ни тогда, ни сейчас».*

Во-вторых, малотиражное издание «Планирование управления территорией областного ранга»: *«Там тоже есть вещи, которые вполне можно вписывать и сегодня, хотя, конечно, надо убрать какие-то обязательные идеологические и непродуманные в ту пору фрагменты».*

В-третьих, работа, которая связана с образом жизни. В этом тексте автор сформулировал закон социалистического ограбления населения, который функционировал через механизм общественных фондов потребления. Однако «при

редактировании, <... > когда А.Б. редактировала, она эти формулы выкинула, и из-за этого как бы в самой книжке это все непонятно».

Возможно, нашему скромному, деликатному и самокритичному автору непонятно его место в отечественной социологии. Возьмем на себя смелость сформулировать некоторое представление об этом месте. Роль нашего героя -это во многом порождение идей, «устное научное творчество», консультирование. Это роль методолога, который дарит мысли направо и налево, это традиционная теньевая роль, которая никогда не явлена публично и потому остается невидимой там, где успех деятельности и статус измеряется в регалиях и опубликованных изданиях.

Сходным образом рассуждает и сам Эдик. Он говорит: *«Я считаю, что наука имеет двойственный характер... С одной стороны, это социальный институт, и поэтому в его рамках действует система статусов, по которым распределяются ученые. <...> С другой стороны, это абсолютно анонимный институт, действующий сам по себе независимо от того общества, в рамках которого он формируется и работает. В рамках этого второго значения института науки, вообще говоря, наплевать, кто какое место занимает. Совершенно неважно, кто именно изобрел колесо. Важно то, что оно есть и действует... Мне кажется, к тому, что происходит в этом научном процессе, я приложил руку. Я не стоял в стороне, активно размышлял над этими проблемами. Однако, я неактивно их пропагандировал и распространял по той простой причине, что мне казалось, что, в общем, хорошая идея сама найдет дорогу... Потому что думал, что надо изобретать колесо, а уж чего там, чье место, было бы колесо. В общем, казалось, что какую-то часть спицы или чего-то там, в общем, я вложил. Вот мое место, я так его мыслю».*

Итак, подводя итоги всему этому тексту, который представляет собой перекличку голосов автора, интервьюера и комментатора, постараемся ответить на вопрос, КТО ТАКИЕ ШЕСТИДЕСЯТНИКИ. Зададим этот вопрос на шему герою и посмотрим, что он ответит:

«Такой запутанный вопрос. Я думаю, что шестидесятники — это все-таки упрощенная, в общем, такое, бросающееся в глаза, внешняя характеристика поколения, которое переживало некоторые исторические события одновременно, и во многом, по некоторым параметрам реагировало на эти события более или менее одинаково. Но чем дальше, тем больше я вижу, что, вообще говоря, только первоначально они реагировали одинаково. Но мотивация этой реакции была совершенно разной. Шестидесятники, судя по всему, представляли из себя совершенно более сложную структуру, чем мы думали... Это очень разные люди, с очень разными ми-

ровоззрениями, и их судьба сегодня совершенно разная. Путь, который они выбирают сегодня, совершенно не одинаков. Некоторые становятся патриотами, русофилами, другие—западниками... Шестидесятников объединяло протестное мировоззрение. Тогда всех их не устраивало то, что происходило до того. И они все стояли в оппозиции. Когда встала задача выбора представления о том, каким должен быть путь социальных изменений, все оказалось сложнее... Совершенно не получилось, что это некое единое поколение и которое точно знает, чего оно хочет. Ничего оно не знает. Оно растеряно».

Продолжим диалог. «Ты себя числишь принадлежащим этому поколению?». «Ну конечно, конечно, я числю себя, потому что... в силу своего темперамента, в силу сложившейся судьбы, <...> я скорее считаю себя некоторой почвой, так сказать, низовым слоем шестидесятников, которые не давали ростков, не выросло дерево, ничего... и в известной степени поддерживали, создавали сочувственную среду для тех, у кого был темперамент активной оппозиции, которые находили в себе силы, им было интересно чему-то противостоять, против чего-то возражать и так далее. Может быть, я даже, в какой-то степени, предлагал для этого какие-то аргументы... я некий серый — такое сильное очень сравнение — серый кардинал, шестидесятник, который разрабатывал аргументы такие-то, а озвучивал их другой. Так что, в общем, конечно, конечно, вот эта протестная вещь, она... Ну, в общем, человек я не конфликтный, вообще мне это чуждо и поэтому, ну как бы вот вступать в драку мне всегда неприятно, вот, и поэтому, если кого есть сильные бицепсы и хорошо держащий удар, вот, то подсказать ему на ринге, что ты там поворачивайся так, ноги поставь так и так далее, вот, так вот может такой профессиональный зритель, который хорошо знает эту кухню бойцовскую, ринговского этого самого, бывает полезен для представителя определенной школы борьбы, школы бокса там и так далее. Так вот, видимо, так сказать, моя функция, вот, то есть я, конечно, в этой команде, вот в этой команде, которая на ринге там дерется, и я на этой стороне. Но я не сам дерусь. Вот. <... > Шестидесятников определяют как раз по тем, кто на ринге выступал. А на ринге выступали, опять-таки, очень разные бойцы, вот. И за ними, в общем, стоят разные зрители. Ну не знаю...»

Подводя итог пережитому, наш мудрый рассказчик отмечает психологические черты той когорты младших шестидесятников, с которыми он себя отождествляет. Он отказывается от социалистического утопического догматизма, но соглашается с конструктивистскими идеями прорабов общества.

Осторожность, умеренный риск, боязнь утвержденных статусов, приверженность к теневым ролям в творчестве, перфекционистская ответственность

перед словом и мыслью, тормозящая публичную реализацию, ответственность перед родными, стремление сочетать моральную чистоту и нормальную жизнь -это, на наш взгляд, и создает особый тип, который Юрий Левада называет культурно-антропологическим. Принимая дважды в течение своей профессиональной жизни вызов времени, люди этого типа сопротивляются внутренним и внешним ломкам с разной долей успешности. Благодаря им возможны успехи тех, кто, не ведая многих страхов и сомнений этого поколения, делает решительные шаги к авторству и индивидуализму.

«Видимо, генетически в психике заложено не делать шагов, которые бессмысленны, которые приведут к твоему уничтожению и... не дадут возможности ничего сделать. Поэтому таких шагов я не делал. Возможно, судьба как бы подворачивалась таким образом. Тут ведь не поймешь, то ли судьба, события подворачивались, то ли ты в этих событиях выбираешь сам то, что, в общем, тебе подходит по темпераменту. Ведь на самом деле сваливать просто как бы на некие объективные, независящие от тебя обстоятельства, это, наверное, все-таки не очень точно. Я боялся статуса всегда. Вот чего я боялся, того боялся. Потому что статус обязывает. <...> И почему у меня идут трудно тексты — потому что я боюсь законченного текста. Он тоже обязывает. Он тоже уже заставляет тебя отвечать за то, что ты вот нечто окончательно сформулировал, и значит — ты этого придерживаешься. Это какая-то черта характера, связанная с тем, что, в общем, я себя олицетворяю не с персоной, а с наукой. А наука окончательных суждений не выносит. У нее не та функция. <...> Как человек ты в науке, ты вынужден выносить некие суждения, причем у нас же еще как бы место науки такое, она авторитет. И ты, в общем, должен играть роль этого авторитета... Видимо, вот из-за этого обостренного чувства неокончателности всего того, что происходит, меня пронесило мимо крутых ошибок. Живешь так, как будто у тебя впереди вечность и, стало быть, до окончательных решений, в общем-то, дело так и не дойдет. Вечность так и вечность. Чего тут, какие окончательные решения. Можно не принимать их. Можно идти вместе с процессом, наблюдать его и так далее».

И правда, надо жить, ориентируясь на вечность, кто-то должен уметь это делать, иначе мы не заметим впопыхах и в суете самого главного - горизонта трансцендентной задачи, которую мы решаем, отдаваясь биографическому импульсу.